
Заканчивается вторая глава «Избранных трудов» обильными выписками из рукописи Пандектов Никона Черногорца, написанной в 1381 г. в серпуховском Высоцком монастыре под руководством, как думает Б. М. Клосс, игумена этого монастыря известного Афанасия Высоцкого. Однако выписки о монашеской жизни из сочинений церковных авторитетов далеко не всегда относятся именно к общежительным монастырям. Требования монашеского смирения, почитания игумена, послушания ему, скромного поведения при встречах с мирянами, настрой на молитву и т. п. имели отношение не только к монахам киновийных монастырей, но и к монахам вообще. Б. М. Клосс же считает, что набор выписок заменяет их анализ, и, говоря о киновийных монастырях, соединяет в одно целое все, что ему кажется интересным в писаниях ранних христианских авторов о монахах. «Око церковное», написанное, как признает большинство исследователей, тем же Афанасием Высоцким и содержащее особую редакцию Иерусалимского устава, в которой есть главы об общем житии в монастырях, для сопоставлений не привлекается и более того — совершенно не упоминается. Объективное исследование подменяется то удачным, то малоудачным, то просто неудачным, а иногда даже и неуместным цитированием источника.

(Продолжение в следующем номере журнала)

А. А. Гиппиус

О КНИГЕ Е. Р. СКВАЙРС И С. Н. ФЕРДИНАНД «ГАНЗА И НОВГОРОД»
(Сквайрс Е. Р., Фердинанд С. Н. Ганза и Новгород: Языковые аспекты исторических контактов. М., 2002. — 366 с.)

Стоит подчеркнуть: рецензируемая книга называется «Ганза и Новгород», а не «Новгород и Ганза». Такая последовательность несколько необычна для отечественной историографии русско-ганзейских отношений и вместе с запоминающимся сочетанием фамилий авторов может даже навести читателя, впервые знакомящегося с их трудами, на мысль о переводе. На самом же деле она лишь точно фиксирует перспективу, в которой авторы — российские филологи-германисты — рассматривают свой предмет. Объектом предпринятого ими исследования является «нижненемецкий язык Ганзы и изменения, произошедшие с ним в результате контактов с русским языком в период с начала XIII по конец XV в.» (С. 8).

Выбор этой «ганзейской» перспективы диктуется характером материала: «русско-нижненемецкий корпус текстов», рассматриваемый в книге, более чем на 90% составляют тексты на нижненемецком языке, что обусловлено не только и даже не столько сохранностью источников, сколько историческим распределением ролей в отношениях Новгорода и Ганзы, спецификой самой контактной ситуации, в которой основная масса письменной продукции, прямо или косвенно отражающей двусторонний контакт, создавалась одной стороной — ганзейской. До последнего времени вся эта масса текстов не становилась предметом сколько-нибудь систематического лингвистического анализа. Традиционную пищу лингвистов, исследующих русско-ганзейские языковые контакты, составляют лексические заимствования из нижненемецкого в русский и обратно, а также русско-нижненемецкие разговорники XV–XVI в. Авторы книги ставят проблему значительно шире: языковой контакт интересует их во всей совокупности составляющих его интерферентных и трансферентных явлений. При этом, поскольку полем языкового взаимодействия являются конкретные тексты правового содержания, обладающие определенной клишированной структурой, фокус исследования естественно смещается именно в эту область.



Во введении к книге авторы формулируют методологические принципы исследования. Элементы контактного происхождения выявляются в нижненемецких текстах русско-ганзейского корпуса путем сопоставления их, с одной стороны, с древнерусскими текстами (где эти элементы должны присутствовать), а с другой — с контрольным корпусом не связанных с Русью ганзейских текстов (где их быть не должно). Сам же русско-ганзейский корпус подразделяется при этом на три уровня, или плана, по мере удаления от непосредственной ситуации контакта. Первый уровень составляют двусторонние русско-ганзейские документы; второй — корреспонденция третьих сторон о событиях, связанных с русскими делами; третий — тексты, циркулировавшие в центральных инстанциях Ганзы. Такая форма организации материала позволяет представить заимствование из древнерусского в нижненемецкий язык Ганзы как своего рода языковую волну, распространяющуюся из эпицентра контакта и, в зависимости от ее интенсивности, достигающую более или менее отдаленных от него коммуникативных сфер.

Первая глава книги посвящена историческому контексту ганзейско-русских языковых контактов и их социолингвистическим параметрам. От общей хронологической канвы этих контактов авторы переходят к истории Петрова подворья в Новгороде, характеризуя устав общины, социальный и возрастной состав немецких гостей, степень их грамотности в разные периоды, роль приказчика и викария подворья в ведении его корреспонденции и т. д. Примечательна историческая динамика этой картины. В рамках периода, охваченного исследованием, социальная физиономия ганзейского купца претерпевает существенные изменения: из неграмотного торговца, самолично разъезжающего со своим товаром и обменивающим его, он превращается в человека, проводящего большую часть времени за конторкой в родном Любеке или Штральзунде и осуществляющего торговые сделки через переписку при помощи своих комиссионеров, — тип, запечатленный портретом кисти Ганса Гольбейна, тонкий анализ которого является одним из украшений данной главы. Заметим лишь, что степень неграмотности раннего ганзейского купечества кажется слегка преувеличенной авторами. Во всяком случае, тот факт, что знакомство обитателей Петрова подворья с его уставом происходило со слуха, путем публичного, дважды в год, зачитывания скры, выглядит очевидной данью традиции «правоговорения» и сам по себе не может служить указанием на неграмотность аудитории.

Обзор лингвистических факторов контакта включает характеристику роли латыни в формировании нижненемецкого языка дипломатики, а также анализ «скандинавского следа» в ранних русско-ганзейских грамотах. В этой двойной перспективе нижненемецкий язык Ганзы предстает как идиом, принципиально открытый для внешнего влияния: формируясь при моделирующем воздействии латыни как образцового языка права, он в то же время оказывается на редкость восприимчив к языковому наследию скандинавского — его непосредственного предшественника и «спутника» при проникновении в Новгород.

Переходя к соотношению нижненемецкого и русского, Е. Р. Сквайрс и С. Н. Фердинанд отмечают как важнейшую черту местной контактной языковой ситуации отсутствие в функциональной парадигме древнерусского языка латыни, делавшее невозможным ее использование в качестве понятного обеим сторонам средства общения. Именно этим, в первую очередь, авторы объясняют тот в высшей степени примечательный факт, что переход с латинского языка на нижненемецкий в русско-ганзейском корпусе текстов проходит раньше, чем на других направлениях деятельности Ганзы (свою позицию в этом вопросе авторы противопоставляют точке зрения Р. Петерса, к сожалению, не поясняя, в чем состоит эта последняя; заметим, что работа Peters 1983, на которую делается ссылка, в списке литературы отсутствует). В силу этого «новгородские грамоты занимают в кругу памятников на нижненемецком языке весьма заметное и даже почетное место» (С. 49). Впрочем, как замечают авторы, невозможность общения на латыни сама по себе, хотя и способствовала переводу делопроизводства на родной язык, с обязательностью не

предполагала его, о чем свидетельствует продолжающееся использование латыни в договорах с Новгородом скандинавских стран (С. 111, прим 12). В связи с этим возникает вопрос: не объясняется ли, по крайней мере, отчасти ранний переход на нижненемецкий в документах и письмах Петрова подворья восприимчивостью ганзейцев к особенностям местной языковой ситуации, в которой, как отмечают сами авторы, издавна присутствовал административный язык, типологически сопоставимый с формирующимся нижненемецким? Внимание обитателей Петрова двора вряд ли мог не привлечь тот факт, что их русские контрагенты писали письма и составляли договоры на том же языке, на котором они общались между собой (различиями между новгородским диалектом и «стандартным древнерусским» как языком официальной документации в данном случае можно пренебречь).

Переходя к построению социолингвистической модели русско-нижненемецкого языкового контакта, авторы подразделяют ситуации контакта между ганзейцами и русскими на дипломатические (сугубо официальные) и деловые (менее официальные). Хотя сами тексты русско-ганзейского корпуса отражают исключительно ситуации первого типа, основы языкового контакта закладывались в повседневной деловой коммуникации, реконструкция которой представляет поэтому особый интерес. Отметим характерное противоречие в освещении нижненемецкими источниками этой стороны дела. Опираясь в первую очередь на данные скры, авторы замечают, что «специфика жизни немецкой купеческой общины в Новгороде и в целом немецкой торговли на Руси сводила к минимуму возможности неформального личного контакта между приезжавшими на Русь ганзейцами и новгородскими горожанами» (С. 54). Однако разбросанные в корреспонденции Петрова подворья факты, упомянутые в этом разделе книги, свидетельствуют об обратном, создавая в конечном счете картину весьма оживленного и основанного на взаимном интересе общения ганзейцев с новгородцами. Достаточно сказать, что, в отличие, например от *Fondacco dei Tedeschi* в Венеции, где к каждому немецкому купцу был приставлен маклер-итальянец, общение ганзейцев с их русскими партнерами в Новгороде происходило без посредников, путем личного контакта. Исключительно показательна в этом отношении и практика проживания на дворах новгородских бояр ганзейских «учеников» — *sprakelers*, посылавшихся в Новгород специально с целью изучения языка.

Активность в налаживании языкового контакта с Русью и стремление к монополизации этого контакта были, как показывают авторы, целенаправленной языковой политикой Ганзы. В основе этой политики лежал живой коммерческий интерес к Руси, позволявший успешно преодолевать правовые, религиозные и языковые препятствия к установлению контакта. Проистекающая отсюда принципиальная адаптируемость Ганзы, ее религиозная толерантность, готовность играть по правилам, предложенным партнером, — все это составляет прямую противоположность позиции Ливонского ордена и имперского центра, ставивших во главу своей восточной политики задачи территориальной и религиозной экспансии. В демонстрации этой внутренней неоднородности германской экспансии на Востоке, преследовавшей в своей экономической и политико-религиозной составляющих разные цели и осуществлявшейся разными средствами, состоит одно из главных положений книги, в дальнейшем убедительно обосновываемое собственно лингвистическим анализом.

Видное место в книге уделено роли, которая в русско-ганзейском языковом контакте принадлежала толмачам, осуществлявшим устный перевод во время переговоров и переводившим итоговые тексты договоров с русского на нижненемецкий. Эти функции, как показывают авторы, чаще всего выполняли представители ливонских городов: Ревеля, Дерпта, в меньшей степени Риги, что свидетельствует о своеобразном разделении труда, практиковавшегося Ганзой в ее отношениях с Новгородом. Ряд упомянутых в книге переводчиков-ливонцев можно пополнить именем Германа Кокена, жителя Нарвы, толмачившего для брата герцога Клевского в его поездке на Русь и

убитого в ходе этой поездки. Упоминание его в новгородских летописях как «проводника и толка ругодивца», неправильно прочитанное издателями как *Итолка Ругодивца*, породило лексикографический фантом, разоблачению которого посвящена специальная статья Н. А. Казаковой (ТОДРЛ. Т. 24. XXIV. 1969, С. 139–141). Переводчики с русской стороны появляются в русско-ганзейских отношениях только к середине XV в., однако и в это время механизм заключения соглашений остается прежним: переговоры продолжают вестись по-русски, на русском языке составляется и итоговый документ, а перевод на нижненемецкий производится — чаще всего в одной из ливонских канцелярий — только для представления его в высшие ганзейские инстанции.

Воссозданная таким образом модель нижненемецко-русского языкового контакта принципиально асимметрична: собственно носителем этого контакта является немецкая сторона, тогда как русская представляет собой лишь «источник интерферентных или трансферентных явлений в качестве автора оригинала (в случае прямого перевода) или в качестве адресата» (С. 99). Поэтому, как заключают авторы, «проблему русско-нижненемецкого языкового контакта корректно ставить в аспекте изучения особенностей контактного поведения нижненемецкого языка по отношению к русскому» (там же).

Последняя формулировка справедлива лишь относительно контактных явлений, специфичных для письменного языка, вроде анализируемых в 3-й главе дипломатических формул, но не в отношении лексических заимствований, являющихся объектом анализа во 2-й главе. Представленный здесь круг заимствований из древнерусского в нижненемецкий уравнивает аналогичный материал по заимствованиям из нижненемецкого в древнерусский, уже освоенный, хотя пока и недостаточно, исторической лексикологией русского языка. Более того, как отмечают сами авторы (С. 152), «в целом прямые лексические заимствования из русского в нижненемецкий немногочисленны, их меньше, чем заимствований в обратном направлении, из средненижненемецкого в древнерусский».

В книге анализируются как собственно лексические заимствования, так и передача ганзейскими источниками русских топонимов и гидронимов. Здесь обращает на себя внимание, в первую очередь, поразительная нестабильность в обозначении ганзейскими источниками самого Новгорода. Множественность вариантов адаптации и переосмысления русского названия города особенно бросается в глаза на фоне унифицированности его древнескандинавского обозначения — *Hylmgarpr*. Отказ от использования скандинавского посредства показателен ввиду наличия такового при усвоении целого ряда других топонимов (*Kellingin* «остров Котлин», *Aldagen* «Ладога», *Noteborgh* «Орешек», *Wolcoweminne* «устье Волхова» *Ny* «Нева»). Этот скандинавский слой в ганзейской топонимике северной Руси подтверждает сделанное в первой главе наблюдение авторов, согласно которому в ее торговом освоении ганзейцы шли по стопам скандинавов. Заметим только, что, вопреки сказанному на с. 125, Ладожское озеро в исландских сагах никогда не называется *Aldeigjuborg* — это название всегда относится только к городу Ладоге.

Отдельного комментария заслуживает древнерусское название острова Котлин, расположенного в Финском заливе в устье Невы. Оно восстанавливается авторами (со ссылкой на Фасмера) как *Котлингъ*. Такой реконструкции, однако, противоречит написание этого топонима в единственном фиксирующем его раннем источнике — договорной грамоте Александра Невского 1262—1263 г., где он выступает в формах *до Котлигнъ*, *ис Котлингъ*, *до Котлингъ*. Первое написание, если конечный -ъ в нем не является опиской, соответствует — с точностью до метатезы *ng~gn* — номинативу *Котлинга*. Второе и третье написания позволяют предполагать в номинативе плюральную форму *Котлингы* (в стандартном др.-рус.) и *Котлингъ* (в древненовгородском диалекте). Таким образом, данный топоним на русской почве был оформлен по *a*-склонению, с колебанием в морфологическом числе: *Котлинга* — *Котлингъ* (-ы).

Из топонимов, усвоенных непосредственно из русского языка, отметим название Твери, выступающее в нижненемецких источниках с начальным *o-* (*Otwar*, *Otwer* и др.), что авторы

справедливо объясняют извлечением нижненемецкого топонима из предложной группы *vo Tverь*. Аналогичным образом объясняется и представленное в разговорниках название Пскова *Wobschow*. Непонятно только, почему в данном случае предполагается отражение «народного названия Пскова в др.-рус. — *Опѣсковъ*, образовавшегося из конструкции *vo* + форма местного падежа (*vo Псковъ / ъ / »*) (С. 120). Не говоря уже о странном облике корня этой реконструированной формы, кажется очевидным, что и здесь, как и в случае с Тверью, переразложение предложной словоформы было произведено самими авторами разговорников.

Различия в степени освоенности русских заимствований нижненемецким языком Ганзы наглядно демонстрирует сводка упоминаемых ганзейскими источниками названий новгородских должностных лиц, денежных единиц и мер веса, сортов пушнины, дворовых построек и других реалий, среди которых видное место занимает взятка — *rossul*. В трактовке этого интересного лексического материала отметим ряд неточностей. Так, нижненемецкое обозначение одного из сортов меха *troynisse* авторы возводят к др.-рус. существительному **троиничь/троиник* (С. 133). Между тем приводимый древнерусский контекст, в котором представлен вин. мн. *троиничи*, позволяет, с учетом отражения в этом документе цоканья, уверенно восстанавливать начальную форму *троиница*, идеально подходящую в качестве источника нижненемецкой лексемы. Соответственно и слово *dogenisse / doynisse*, справедливо сопоставляемое авторами с *troynesse*, следует возводить не к **двоиничь / двоиник* (там же), а к *двоиница*. Лексемы *двоиница* и *троиница* входят в тот же ряд, что и *шевица (schevenisse)* — ‘мех, сшитый из нескольких шкур’. Этот параллелизм дает полное право видеть в *двоинице* и *троинице* названия мехов, сшитых соответственно из двух и трех шкур.

В обзоре отраженных нижненемецкими заимствованиями фонетических признаков новгородского диалекта фигурирует (без ссылок на источник) слово *ropelen*, обозначение сорта белки (С. 150). Однако среди перечисляемых в соответствующем разделе названий сортов пушнины это заимствование отсутствует. Заметим также, что привлечение данного слова для иллюстрации перехода *e > 'o* некорректно: вариативность *попелъ / пепелъ* представлена уже в старославянском и к указанному фонетическому процессу отношения не имеет.

В разделе, посвященном передаче ганзейскими источниками названий новгородских должностных лиц, новгородский архиепископ дважды назван архимандритом (С. 127). Этот случайный недосмотр не заслуживал бы упоминания, если бы за ним не стояла более общая проблема. Простой констатации, что в исследованном корпусе архиепископ выступает как *(erze)biscop*, здесь недостаточно. Примечательна факультативность заключенного в скобки компонента. Издатели «Грамот Великого Новгорода и Пскова» (М.; Л. 1949. Далее — ГВНП), переводя нижненемецкие тексты грамот на русский язык, как правило, передают *erzebiscop* как ‘архиепископ’, а *biscop* — как ‘владыка’. Скорее всего, за противопоставлением вариантов *erzebiscop ~ biscop* действительно стоит корреляция *архиепископ ~ владыка* в русских оригиналах. В самом Новгороде эта пара — в том виде, в каком она обнаруживается в текстах XIV–XV вв. — формируется на основе трехчленного противопоставления *епископ ~ архиепископ ~ владыка* путем постепенного «вымывания» начального члена. Этот процесс, по-видимому, каким-то образом соотносится с преобразованием новгородской епископии в архиепископию, относимым большинством авторов к XII в. Однако в исторической литературе это соотношение трактуется иногда слишком прямолинейно, без учета того, что слово *епископ*, обозначающее родовое понятие, приложимо и к иерарху, носящему архиепископский титул. Словоупотребление нижненемецких переводов в этом отношении представляется очень показательным.

Фундаментальный и глубоко новаторский вклад в изучение русско-ганзейских языковых отношений составляет третья глава книги, в которой анализируются заимствованные русские формулы в нижненемецких грамотах. Относительная немногочисленность таких формул (в общей сложности



их около десяти, не считая вариантов) объясняется тем, что речь идет о семиотически наиболее нагруженных элементах структуры текста, взаимосвязанных в рамках древнерусского договорного чина и образующих его костяк. Сюда относятся: формулы заверения грамоты (крестоцелования и ручательства: *de hant don* «приносить клятву, обещать», *ирре des koninges hant* «на княжей руке» и др.), челобития, зачина (*hir sint gekommen* «к нам приехали», *endigen* «докончат (мир)»), а также специфические русские формы обозначения адресатов (*nabers* «соседи», *vader* «отец»).

Наблюдая поведение этих элементов в текстах трех коммуникативных планов, авторы прослеживают путь заимствования с момента калькирования русского прототипа (в процессе перевода или в ходе прямого контакта с новгородскими инстанциями) до включения его в круг принятых в канцелярском языке Ганзы обозначений «русских» дипломатических реалий. Отрываясь от своего первоначального контекста, калькированные элементы, взаимодействуя с синонимичными им формулами латинского и немецкого происхождения, могут, как показано в книге, подвергаться грамматическим и синтаксическим трансформациям, изменять свою смысловую нагрузку, семиотически переосмысляться, то есть действительно становятся фактами нижненемецкого языка, хотя и имеющими ограниченную сферу денотации. Так, лексема *kruckussinge*, калькирующая др.-русск. субстантивное сочетание *крѣстное ѹлование*, подчиняясь распространенной в нижненемецком модели переноса названий действия на продукт действия (*nomen actionis* → *nomen acti*), становится в языке Ганзы стандартным обозначением договорной грамоты и может употребляться во множественном числе. Анализ подобных вторичных трансформаций вынесен в особый раздел («Дальнейшее развитие русских формул в нижненемецком языке»), что кажется не вполне оправданным: отделяя первоначальное освоение заимствованной формулы от ее «дальнейшего развития», авторам приходится искусственно прерывать изложение однородного материала, а затем повторять сказанное, возвращаясь к уже рассмотренным формулам и примерам.

Филолог-русист, читая этот раздел книги, найдет для себя ответ на вопрос, должно быть, возникавший у многих читателей «Грамот Великого Новгорода и Пскова»: почему русские переводы нижненемецких текстов местами дословно совпадают с аналогичными пассажами текстов древнерусских? Причина этого состоит не просто в том, что опубликованные в ГВНП нижненемецкие тексты представляют собой, в свою очередь, переводы с древнерусского. Близость этих переводов к древнерусским оригиналам авторы убедительно объясняют не неспособностью ганзейских переводчиков найти немецкие соответствия русским формулам, но сознательным принятием Ганзой в отношении с Новгородом русского чина договорной грамоты. Отсюда, между прочим, вытекает немаловажное следствие: нижненемецкие тексты ганзейско-русского корпуса оказываются важным дополнительным источником сведений о языке древнерусской дипломатики. Только один пример. Одной из специфичных для русско-ганзейского корпуса семантических инноваций в нижненемецком является употребление лексемы *kindere* в значении «народ, соотечественники». Сочетание *dudesche kindere* часто встречается в этом корпусе и явно представляет собой кальку с древнерусской формулы *немечьскы ѹ дѣти*. Однако в дошедших до нас древнерусских текстах данное сочетание не представлено, имеется лишь пара близких аналогий: *литовьскы ѹ дѣти* в Новгородской I летописи и *еллиньскы ѹ дѣти* в переводном тексте Слов Григория Богослова. Нижненемецкий материал раскрывает, таким образом, подлинную степень распространенности данной модели в древнерусском.

В итоге проведенного авторами анализа складывается весьма выразительный языковой образ Ганзы, главными свойствами которого являются гибкость и открытость к контакту, восприимчивость к чужому слову, способность пойти навстречу иноязычному партнеру даже в такой принципиально консервативной сфере как актовъ формуляр. Созвучность этой картины общей характеристике восточной политики Ганзы, данной в первой главе книги, подчеркивается

сопоставлением с формуляром грамот Ливонского Ордена, остающимся в договорах с Русью практически полностью непроницаемым для русских заимствований.

Что же касается языковой позиции новгородской стороны, то ее характеристика нуждается, на наш взгляд, в небольшом уточнении. Анализируя формулу зачина грамот *hir sint gekommen* «к нам приехали» (о приезде послов), являющуюся переводом русской формулы *се при ъхаша*, авторы находят в ней коннотацию неравенства договаривающихся сторон, которую, как они считают, стремились ослабить или устранить ганзейские переводчики и которая, напротив, решительно сохранялась и культивировалась в московский период ганзейско-русских дипломатических связей. Принятие этой точки зрения означало бы, что новгородцы в формуляре своих договоров с Ганзой стремились подчеркнуть собственное превосходство, предвосхищая тем самым поведение московских правителей. Однако оснований думать таким образом, на наш взгляд, нет. На то, что формула *се при ъхаша* изначально не содержала в себе коннотации неравенства и лишь описывала реальные обстоятельства заключения договора, недвусмысленно указывает запись на обороте договора Новгорода с князем Ярославом Ярославичем 1268 г., сделанная рукой писца грамоты, архиепископского нотариуса и летописца пономаря Тимофея: *се приехаша послы от Менгу Темеря цесаря сажатъ Ярослава князя с грамотою Чевгу и Баиши* (ГВНП. № 3. С. 11). Ни о каком отношении «сверху вниз» к прибывшим в Новгород для интронизации Ярослава послам татарского хана говорить, разумеется, не приходится, а следовательно, нет оснований усматривать такое отношение и в других случаях употребления данной формулы.

Момент активного навязывания ганзейцам определенного порядка заключения договоров и собственного дипломатического формуляра, как кажется, вообще не просматривается в позиции новгородской стороны до середины XV в. В принятии Ганзой в отношениях с Новгородом русского чина договорной грамоты скорее следует видеть инициативу самой Ганзы, готовой взять на себя все правовые и языковые издержки, связанные с установлением и поддержанием выгодного контакта.

Чрезвычайно важным для уяснения языковой специфики ганзейско-новгородского корпуса является сопоставление с договорами Смоленска с Ригой и Готландом 1228 и 1229 гг. Поскольку смоленские грамоты в исследуемый корпус не входят, авторы подробно не останавливаются на данном вопросе, однако в примечаниях затрагивают его, высказывая на этот счет несколько весьма важных замечаний. В отличие от новгородско-ганзейского корпуса, смоленские грамоты отражают влияние немецкого договорного чина на древнерусский. К указанным авторам признакам этого влияния (наличие в смоленских грамотах фразы о скреплении договоров печатями и отличное от новгородского обозначение договаривающихся сторон), добавим присутствие в грамоте 1229 г. пространной аренги, а также даты от Рождества Христова. Добавив к этому факт отправки послов на Готланд для заключения договора и наличие в смоленских грамотах косвенных указаний на переводной характер древнерусского текста (или, во всяком случае, отдельных его частей), можно констатировать почти фронтальную противопоставленность новгородской и смоленской ситуации. Авторы объясняют специфику последней более тесными связями Смоленска с латинской традицией и близостью к традиции полоцко-витебского письма, а также иным, чем в Новгороде, составом немецких корреспондентов, но в то же время готовы допустить (и даже считают это вполне вероятным), что влияние русского договорного чина на нижнегерманский (или латинский) утвердилось в период между 1229 и 1268 г. и что, таким образом, указанные различия имеют хронологическую природу. В пользу последнего объяснения свидетельствует, заметим, и тот факт, что древнейший из новгородско-ганзейских договоров, датируемый 1191–1192 г., был заключен по «смоленскому» сценарию, послом князя Ярослава Владимировича Григой, отправленным с этой целью, вероятно, на Готланд. В исследованном в книге корпусе русско-ганзейских документов договор 1191–1192 г. занимает вообще обособленное положение как

единственное документальное свидетельство эпохи, когда связи Новгорода с Западом строились по иной, чем в XIII—XV вв., намного более симметричной схеме.

Роль заключения к книге изящно выполняет опыт применения полученных выводов к одной из главных загадок в истории русско-ганзейских отношений — немецкому тексту «грамоты Ярослава» 1269 г. Комплексный анализ этого важнейшего документа подтверждает правомерность взгляда на него как на перевод заключенного русского договора, выполненный для Любека и, скорее всего, современный самому договору. Решению подобных источниковедческих задач служит и помещенная в приложениях (IV) таблица датировки и атрибуции текстов по формулам и лексемам, обобщающая и систематизирующая разобранный в исследовании материал. Приложения включают также перевод всех примеров (I), дополнительные примеры, не вошедшие в основной текст (II), а также полный реестр исследованных текстов с краткой их характеристикой (III). Такое построение книги позволило авторам удачно совместить исчерпывающую полноту представления материала с заботой о читателе.

Заканчивая, нельзя не упомянуть многочисленных и прекрасно подобранных иллюстраций к книге, создающих еще один — зрительный — образ тех исторических контактов, языковой аспект которых столь проникательно и объемно исследован Е. Р. Сквайрс и С. Н. Фердинанд. С несомненным издательским успехом можно поздравить и «Индрик».